

ВСТРЕЧА НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ

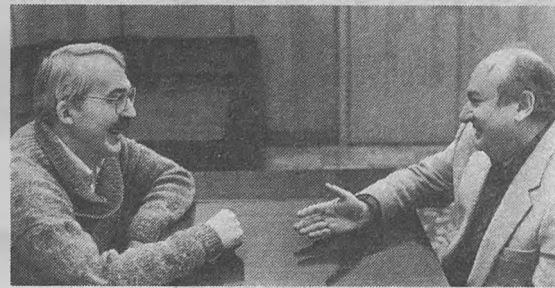
Книга называется «Год — за два». Так скромно ее автор Михаил Жванецкий пересчитывает год труда сатирического к среднестатистическому, не связанному с осмеянием и выворачиванием жизни наизнанку.

Если очередные совершенно объективные причины вроде нехватки бумаги или отдельных букв не помешают, то книга в 20 печатных листов выйдет в начале 1989-го в издательстве «Искусство». И надо сказать, это будет большой победой отечественного «Искусства», ведь до этого книгам Жванецкого удалось прорваться к читателю лишь однажды, в отличие от голо-са на миллионах самостоятельно тиражируемых кассет.

Автор проследил всю свою жизнь, начиная от года рождения

1934-го. И что бы он сам о себе ни сказал, но именно Жванецкий был среди главных действующих лиц, сарказмом и горьким смехом расшатывавших два недавних серых десятилетия, приблизивших время новое. Так что же теперь — писать оды и гимны! Но в том-то и дело, что сатира Жванецкого — это не просто билет по маршруту «до полного искоренения отдельных недостатков»; Жванецкий — это демократическая экспертиза перемен.

А они происходят. Сам факт издания этой книги — им свидетельство. Как и то, что сделали ее трое друзей: написал Михаил Жванецкий, оформил Резо Габриадзе; Андрей Битов — автор предисловия, выдержки из которого мы публикуем.



ПОД КУПОЛОМ ГЛАСНОСТИ

Андрей БИТОВ

Он даже хаживал один на паука.

И. А. Крылов.

КАКИМ бы нескладным ни вышло написанное мною о Жванецком, хотя бы от обязанности излагать здесь его жизненные вехи я свободен. Они все — в его книге. Годы, отступая в прошлое, сливаются в периоды. Эта книга и автобиография, и дневник.

Одесса, инженер в порту, КВН... Ленинград, Райкин...

Карцев, Ильченко, Москва...

А дальше: Жванецкий, Жванецкий, Жванецкий.

Годы как циклы. Как кольца на дереве. Как сезоны:

Весна, лето, осень, зима.

Или: любовь, дружба, грусть, злость.

Год за годом. Виток за витком. А годы те самые. Когда ничего...

И сквозь них, живым побегом, прорастает слово.

КНИГА стоит на полке — слава висит в воздухе.

Слово письменное уступило устному.

В наш нечитающий, телевизионный век мы особенно полюбили артистов. Мы их любим, потому что знаем в лицо. Тут уже и устных слов не надо. Посмотрели, и будет.

Слово письменное уступило устному, когда замерло время. В эпоху многосерийного анекдота и семнадцатити мгновений. Сейчас время тикнуло, и торжествует публицистика, пограничная область слова устного. Сквозь нее пробивается слово письменное, первая травка.

Слава висит в воздухе — книга стоит на полке.

СЛАВА Жванецкого безмерна, от Северного полюса до Южного. И в невесомости (у космонавтов). Популярность его сравнима только с популярностью Высоцкого.

Но у Высоцкого — стихи, голос, гитара... а теперь и смерть.

У Жванецкого — ничего этого, одна проза.

Популярность прозы в таком масштабе — вещь невообразимая. И это при минимальном тираже (число мест в зрительном зале) и неограниченной перепечатке (число магнитофонных кассет). Артист под маской писателя или писатель под маской артиста?

Казалось бы, чему может завидовать человек с такой известностью? Жванецкий завидует... писателям, их нечитаемым кирпичам.

Слава Жванецкого раздражала поклонников: чем больше она росла, тем больше ее не хватало. То экран не дали, то зал не предоставили.

Теперь она раздражает иных и иначе: и зал, и экран... символ гласности!

Только что он и был наша гласность, а теперь, когда ее стало полно, стал символ. И этот вот

переход он нам преподавал первый. И стоит это учесть: как в одночасье гласность переходит в символ: только что не было и снова не стало. Устное слово нуждается в письменном.

ТАК и подмывает начать подмигивать и острить. Сколько раз я это наблюдал меж его поклонников. Удостоенные чести, в тесном кругу, в нетерпеливом ожидании новорожденной (при них, для них!) шуточки, в счастье приобщения к своему кумиру они прежде всего не давали ему рта раскрыть, начиная безудержно и безнадежно острить, сами себе удивляясь и срываясь в свое очевидное фиаско, как в бездну. И страшно, и не удержишься. Как спеть для Карузо. Так неизбежно начинаешь жать на газ, если доведется подвезти до трека знакомого гонщика...

Что же я сейчас о нем напишу, по праву, по долгу, по бесстрашию и отчаянию дружбы? Когда все так ясно, что и сказать нечего? Когда я еще и рта не раскрыл, а он уже понял?

Представлять публике Жванецкого — что за немислывающая задача! Жванецкий — это проза лишь по одному признаку: что рифмы нет. Но это и не поэзия, хотя смысл пролетает между словами со скоростью, свойственной лишь поэзии. В записанном виде и слова-то у него — какие-то и не слова. Разве это слова?

Может, это и не слова, а молчание. В чем эффект Жванецкого? Мы не его слышим. Мы слышим себя. Свой внутренний монолог, который не только не звучал при других, но и себе-то мы отчета не давали, сколь постоянно звучит в нас произносимое вслух слово.

ЖВАНЕЦКИЙ смел, как молчание. Как молчание, когда говорят все. Ибо не словами он пишет. Наше молчание стало столь выразительным за долгие годы! Что и языка не надо. Это и есть наша речь — дырки между словами. Пустота, зияние. Карстовая эпопея, вымытая историей.

«Все произведения мировой литературы», — писал Мандельштам, — я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».

Смех — не что иное, как судорожное дыхание. На Жванецком задыхаются, давятся глотками воздуха, им для нас сворованного. А что тут такого смешного? Над чем?... Все это мы знаем и без него — самая что ни на есть наша каждодневность. Тогда, значит, здорово написано, слова особенно найдены. Но и текста никакого нет. Не только письменного, но как бы и устного: одни междометия, пропуски, пустоты, дырки, меканья — все тот же воздух. Тут тоже лучше Мандельштама не скажешь: «...для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка

останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево, в нем главное — то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы».

И далее, слова Зоценко: «Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!»

«Воздух, проколы, прогулы» — наследство Зоценко, в полноте перешедшее к Жванецкому. Никто не посягал. Не сочили «за вещь».

КОГДА не только нецензурное, но и просто живое слово стало непечатным, сначала запрещенным, а потом и неприличным, — тут как из тюбика поползла магнитофонная лента... И это было третье состояние слова — не устное и не письменное. Высоцкий воспел чужое, как свое. Жванецкий рассказал нам свое, как чужое. Ибо Высоцкий поэт, а Жванецкий прозаик. Поэзия есть приобщение, а проза — отчуждение. Такова их природа.

Это неустное и неписьменное слово Высоцкого и Жванецкого оказалось неуследимым, неуловимым, неконтролируемым, оно завоевало страну. Хлеб есть хлеб. И его вкус как-то не обсуждается, когда он — насыщенный.

У Жванецкого ни гитары, ни голоса, ни стойки Высоцкого... Одно косноязычие, да мычание, да заикание. Он извлек из них однако красноречие и выразительность практически античные. Демосфен, так и не вынувший камня изо рта.

ЖВАНЕЦКИЙ — одессит, и любит подчеркнуть это. В ранних текстах он ее воспевае как патриот; в поздних — сетует, что она уже не та, и даже на то, что ее больше не

осталось. Пафос его тот же, что и у защитников природы и памятников. Дерево — это тоже не только ветви и листья, но и тень под деревом и небо сквозь них. Для Жванецкого человек — тоже природа, и отстаивает он язык, характер, юмор — кружевную тень человека.

Юмор — последний оплот свободы, последний шаг отступления. Утратить его значит сдаться. Сохранить — перейти в наступление. Сказать остроумно — уже выжить, уже спастись.

У слабого находится защитник, у погибшего — летописец. В слове таится бессмертие.

Если одесский юмор вымирал, то не последний ли Жванецкий? Во всяком случае с его появлением шутить в Одессе стало еще труднее. Так что же он, доконал, добрал его или, наоборот, спас и именно в нем-то он, умерший, и возродился?

Спасение национального юмора заслуга не меньшая, чем спасение водоема. Экологическая заслуга Жванецкого, кажется, еще не отмечалась.

КАК ЖЕ все-таки представлять Жванецкого?

Жванецкий — это очень серьезно. Поэтому ни в коем случае ведущий не должен выходить на сцену, приветливо улыбаясь, будто он подарит нам сейчас любимца публики. Это вам не Кобзон и не Лещенко. Выходить надо мрачно, похоронно, с недовольным видом, как похмельному рабочему сцены, забывшему на ней свой ломик,

когда занавес уже отдернут, посмотреть исподлобья в зал с неудовольствием, не понимая, чего это они все лыбятся заранее, и сказать внезапно, грубо и нехотя одно слово: «жванецкий».

Это уже слово такое. Оно что-то уже значит для каждого. С маленькой буквы даже больше, чем с большой. Как, впрочем, и положено человеку быть хотя бы с экологической точки зрения — с маленькой. Человек — это звучит горько. Чаплин тоже — только пишется с большой, а воспринимается с маленькой, будто котелок приподнял. Жванецкий — это уже не человек, и не текст, и даже не сама наша действительность. Жванецкий — это наиболее естественное отношение к этой действительности. Это — взгляд, это — жест, это — интонация. Надо иметь глаза и уши. Мы не смеемся — мы рады, что они у нас еще есть...

Как бы я представил Жванецкого нашей просвещенной публике?

Цирк, прожектора, выходит в своем фраке шпрыхсталмейстер и своим немислывым торжественным манером провозглашает: «Под куполом гласности — Михаил Жванецкий!»

И тут на арену выбегает...

И тут на сцену выпархивает... со своей скрипочкой — со своим портфельчиком... и достает из него партитуру — излохмаченные листы рукописи, по четыре крупных ноты-буквы на страницу...

Вот эту вот книгу.

Слушайте...